

12+

МЕДНАЯ ЛИРА

Александр Гудков



Александр Гудков

Медная лира

*<https://litres.ru/74253354>
ISBN 9785007055703*

Аннотация

На изогнутой улочке итальянского городка, где эхо троится, а прямые линии ломаются, найдена жестянка с рукописью. Книготорговец Ромео и антиквар Помпео делят не только мостовую, но и старую монету, ставшую талисманом. Когда в город приходит новый порядок, один доносит на другого. Эта история о предательстве и искуплении, рассказанная ароматом кофе, пылью фарфора и шагами, которые не сходятся, — метафизическая притча о хрупкости истины и цене прощения.

Содержание

Предисловие публикатора	5
Глава первая. О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ	7
Глава вторая. О ДВУХ СТОРОНАХ ОДНОЙ МОНЕТЫ	11
Глава третья. О ВТОРЖЕНИИ ХАОСА И ПОРЯДКА	18
Глава четвертая. О ВЫДОХЕ ПЕРЕД БУРЕЙ	25
Конец ознакомительного фрагмента.	28

Медная лира

Александр Гудков

Дизайнер обложки Александр Гудков

© Александр Гудков, 2026

© Александр Гудков, дизайн обложки, 2026

ISBN 978-5-0070-5570-3

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

«Самая надёжная рукопись — та, которую никто не собирался публиковать. Всё прочее — литература».

— У.Э. — заметки на полях «Медной Лир»

Предисловие публикатора

Жестянку с выцветшим пастушком мне показал Ансельмо в одну из тех суббот, когда граппа кончается раньше, чем разговоры. Я только что вернулся в город — оставил кафедру, поселился на улице Рога в доме номер четыре и полагал, что кривизна переулка заменит мне силлогистику. Оказалось — не заменит, но подарит другое.

Внутри жестянки, помимо монеты (я почти убеждён, что это ауреус времён Нерона — но кто теперь проверит?), лежала пачка листков, исписанных мелким, убористым почерком Констанцы, и несколько страниц явно чужой рукой — ровной, почти каллиграфической. Почерк Констанцы я узнал не сразу: она никогда не показывала мне своих записей, но я видел её манжету с цифрами.

Я взял на себя труд расшифровать эти листки, свести воедино разрозненные записи, сверить даты, а где не хватало — восполнить по рассказам Ансельмо и собственным наблюдениям. То, что вы читаете сейчас, — результат этой работы. Я восстановил последовательность событий по тем же правилам, по каким Констанца считала шаги: пока строки сходятся, мир стоит на месте. Если где-то не сошлось — простите старика.

Местами я позволил себе примечания. Они не обязательны для чтения — можете пропустить их и следить только за

историей. Но если вам интересно, где правда, а где — «этрусское», заглядывайте в квадратные скобки. Только не верьте им до конца: я тоже житель улицы Рога, а здесь даже прямые линии умеют изгибаться.

*У. Э., профессор в отставке,
улица Рога, дом 4*

Медная Лира (восстановленная рукопись)

Глава первая. О НЕВОЗМОЖНОСТИ ПРЯМЫХ ЛИНИЙ

В которой читатель узнаёт о происхождении улицы Рога, но не приближается к истине ни на шаг.

В архиве местной епархии до сих пор убеждены: архитектор, проектировавший город, находился под влиянием тёмных сил. В ночь перед подачей пергамента в сенат он был сильно пьян. Из палатки доносилась ругань, хотя, по свидетельству центуриона и двух легионеров из патруля, внутри он пребывал один. Спор с невидимым собутыльником шёл о Сущем — и в приступе гнева архитектор взмахнул рукой, опрокинув греческую амфору. Та разбилась, расплескав благородный напиток по законченному плану улиц. К утру засохшие хитросплетения вина и чернил сами собой образовали ту кривизну, которую мы — столетия спустя — называем виа дель Корно.

Так гласит епархиальная запись. И, как всякая запись, претендующая на истину, она имеет ровно столько же противников, сколько сторонников.

Профессор риторики из Болоньи (имя опускаю — он ещё жив и сутяжничает) посвятил опровержению этой легенды

четырнадцать страниц латыни. Он утверждает, что центурион, упомянутый в бумагах, страдал *tinnitus aurium* — звоном в ушах, — полученным в галльскую кампанию, и слышал не речи архитектора, а резонанс собственной крови. Архитектор же, по его версии, вовсе не спорил о Сущем, а декламировал вслух Цицерона, чтобы не заснуть над чертежом. Что до кривизны — её объясняет особенность рельефа: в том месте, где улица даёт изгиб, прежде проходила ливневая канава, и строители просто обошли её, сэконобив на дренаже.

Версия эта, вполне разумная, не объясняет одного: почему профессор риторики из Болоньи никогда не был на улице Рога. Он пишет о ней, сидя в кабинете с видом на площадь Сан-Петронио, где линии прямые, как силлогизм. А на нашей улице прямых линий нет — и силлогизмы ломаются.

Я проверял это сам. В первый же месяц после переезда я вышел из дома номер четыре в полдень, пересёк мостовую, встал у дома номер семь и хлопнул в ладоши. Эхо ударило троекратно: первый звук — резкий, как пощёчина; второй — глуше, словно тот же хлопок, но уже из-за угла; третий — совсем дальний, низкий, почти органнй. Архитектор, кем бы он ни был, знал, что делает. Или вино знало за него.

Но я отвлёкся. Вернёмся к архитектору.

Он проснулся на рассвете — с тяжестью в висках и вкусом меди во рту. Палатка провисла под тяжестью росы; в щель между пологам сочился свет, жидкий, как сыворожка. Архитектор сел, упёрся ладонями в походный стол и уви-

дел пергамент. Тот лежал, придавленный пустым кубком, и по листу разбегались, переплетаясь, две жидкости — тёмная и светлая. Чернила и вино. Прямые кварталы, вычерченные накануне, пошли рябью, искривились, словно город отразился в воде. Угол, которого не было в замысле, теперь был.

Он схватил пергамент, поднёс к глазам. Хотел перечертить — но за палаткой уже звучали шаги: мальчишка-гонец торопился забрать план до жары. Архитектор посмотрел на линии. Потом на свои руки — в чернилах и красных разводах. Он мог бы задержать мальчишку. Мог бы сказать: «Подожди, я переделаю». Но что-то в нём — может быть, остаток хмеля, может быть, любопытство — заставило его промолчать. Он свернул пергамент, запечатал и отдал.

Что он подумал в этот миг? Епархия утверждает, что он перекрестился. Профессор из Болоньи — что он выругался. Я не знаю. Но я знаю, что столетия спустя по этой улице ходили люди, которые никогда не встретились бы на прямой.

Вот о них и речь.

Но прежде — ещё одно замечание. О центурионе.

Епархиальная запись упоминает его вскользь: «центурион и двое легионеров». Бумаги не сохранили имени. Сохранили другое: пометку на полях, сделанную рукой приходского священника лет сорок спустя. Пометка гласит: «Умер холостым. Всю жизнь искал женщину с голосом, похожим на тот, что слышал у палатки».

Моя покойная тётушка, приходившаяся центуриону даль-

ней роднѣй, утверждала, что голос был его собственный. Она была женщина практичная и в чудеса не верила. Но она никогда не жила на улице Рога. А здесь даже собственный голос, отскочив от кривой стены, возвращается к вам тройным эхом — и звучит как голос незнакомца, говорящего о Сущем на языке, которого вы не помните, но почему-то понимаете.

Глава вторая. О ДВУХ СТОРОНАХ ОДНОЙ МОНЕТЫ

В которой читатель знакомится с Ромео и Помпео, а также с котом, монетой и словом, которого нет в словарях.

На левой стороне улицы Рога, если идти от фонтана, в доме цвета выцветшей охры, Ромео торговал книгами. Ему было двадцать четыре. Он поправлял волосы нервным, почти птичьим жестом и говорил о книгах всегда — даже когда посетительницы спрашивали, который час. Кармела много позже скажет, что так он поправляет мысли, а не волосы, и это останется самым точным описанием из всех возможных.

Лавка его помещалась в бывшей кладовой торговца пробкой; стены ещё помнили запах смолы, и по утрам, когда солнце нагревало корешки, к запаху пыли и бумаги примешивался слабый аромат пробкового дерева — будто где-то далеко только что откупорили бутылку. Полки Ромео сколотил сам, и вышли они кривыми — но не потому, что он не умел держать уровень, а потому, что подчинился геометрии стен, которые, как и всё на этой улице, не признавали прямых углов. Книги на полках стояли не по алфавиту и не по тематике, а по тайному сродству: «Град Божий» соседствовал с «Декамероном», потому что, как объяснял Ромео, оба текста опи-

сывают конец известного мира, только один — с молитвой, другой — со смехом. Посетители редко понимали этот принцип, но почти никогда не оспаривали: выходило, что книга, которую они искали, всегда отыскивалась там, где они меньше всего ожидали её найти.

Напротив, в доме с кариатидами, у которых от сырости проступили мешки под глазами, держал антикварную лавку синьор Помпео. Ему было двадцать пять. В жилетном кармане он носил серебряный динарий — монету, с которой не расставался не столько из сентиментальности, сколько из суеверного страха: продать её означало бы признать, что дела пошли прахом. Динарий достался ему от отца, которому — от деда, а тому, по семейному преданию, от этрусского торговца, принявшего серебро за молчание. Предание было туманным, как все семейные предания, и Помпео никогда не пытался его проверить: проверка убивает легенду, а без легенды динарий становился просто куском металла, рыночная цена которого не превышала стоимости хорошего обеда.

Его кота звали Джузеппе. Кот был чёрен, толст и обладал свойством, которое Помпео называл «нравственным дальтонизмом»: он не различал добра и зла, но безошибочно отличал тех, кто чешет за ухом искренне, от тех, кто делает это с задней мыслью. Последним Джузеппе не давался.

Каждое утро Ромео выходил на порог и кричал в пространство:

— Помпео! Ты в курсе, что Гераклит говорил о людях, не

читающих по утрам?

— Всё течёт, — откликнулся Помпео, не выпуская медного кофейника. — У меня вчера текло с потолка.

— Это не ответ.

— Ответ — у меня на лестнице таз. Твой Гераклит этого не предусмотрел.

Этот диалог повторялся с вариациями почти каждое утро, и почти каждое утро он заканчивался одинаково: Помпео выносил Ромео чашку кофе, Ромео брал её, не благодаря, и они стояли на порогах своих лавок, глядя на пустую улицу, пока кофе не остывал. Со стороны могло показаться, что они ссорятся. На деле это было приветствие — род шифра, выработанного за четырнадцать лет дружбы.

Они дружили с одиннадцати лет. Сошлись в школе при церкви Сан-Кризогоно — сошлись не по выбору, а по необходимости: оба были слишком бедны, чтобы дружить с теми, у кого имелись карманные деньги, и слишком горды, чтобы искать покровительства. На первой перемене Ромео дал Помпео почитать потрёпанного Лукреция, сказав: «Здесь написано, что мир состоит из атомов. Если это правда — мы с тобой из одного материала». Помпео Лукреция не понял, но книгу взял и держал у себя до конца учебного года. На второй перемене Помпео показал Ромео монету, найденную в сточной канаве, и сказал: «Она фальшивая. Но ты посмотри на профиль: если прищуриться — вылитый ты». Они прищурились. Сходство было сомнительным, но оба согласились,

что оно есть.

Когда им было по тринадцать, они нашли монету ещё раз — ту самую, что впоследствии станет ядром жестянки с пастушком. Дело было в овраге за городской стеной, куда они отправились ловить ящериц. Июль стоял сухой, земля потрескалась, и от травы пахло пылью и мятой — дикой, пораставшей меж камней. Ящериц они не нашли — те попрятались в щели, не желая выходить на солнцепёк, — но наткнулись на размытый дождём край старой кладки: возможно, этрусской, возможно, римской, а возможно, никакой, просто гряда камней, которым время придало осмысленную форму. Ромео сунул руку в щель — и замер. «Там что-то есть», — сказал он. Пальцы нащупали край кружка. Он вытащил его — стёртый до неузнаваемости, зеленоватый, невесомый, холодный от сырой земли, — и положил на ладонь. От металла пахло мхом и застарелой глиной. Помпео подошёл ближе, заглянул. Монета была чуть влажной, и на ребре её, там, где стёртый чекан ещё сохранял след, блеснула капля воды. Они стояли над находкой, передавая её друг другу, и ладони их пахли одинаково — землёй и медью, — и в этом запахе было что-то, чего ни один из них не мог назвать. Ромео протянул монету Помпео. «Она стоит больше настоящей, — сказал он. — Потому что такой нет больше ни у кого». Фраза эта была произнесена без пафоса — скорее как математическая аксиома, — и Помпео принял её на веру. С тех пор слово «этрусская» означало между ними то, чему не было друго-

го названия. Этрусской могла быть шутка, понятная только им двоим. Этруским — жест, не замеченный посторонними. Этрусской — дружба, которая не требует перевода.

С годами монета переключалась в жестянку, жестянка — на полку к Ансельмо, но слово осталось. Когда Помпео впервые показал Ромео отцовский динарий, тот подержал его на ладони и сказал: «Настоящий». Помпео ждал продолжения. «Настоящий, — повторил Ромео, возвращая монету, — но не этрускый». И Помпео понял.

Кот Джузеппе вошёл в их жизнь позже — года за два до описываемых событий. Он явился в антикварную лавку во время грозы, мокрый, злой и немедленно уселся на прилавок, как на трон. Помпео не прогнал его, потому что был уверен: животные приходят к тем, кто в них нуждается, а уходят к тем, кто нуждается в них. Сам он, полагал Помпео, относился к первой категории. Кот, судя по тому что остался, придерживался того же мнения.

Ромео кота не то чтобы любил — он относился к нему с уважением, как к критику, чьи рецензии никогда не оглашаются вслух, но всегда угадываются по выражению морды. Когда Ромео читал вслух особо вычурные пассажи из модных авторов, Джузеппе покидал лавку. Когда читал Петрарку — оставался и жмурился. Ромео ценил эту обратную связь выше, чем мнение литературного приложения к «Коррьере делла Сера».

Таковы были двое, державшие противоположные сторо-

ны улицы. Они не были братьями, не были деловыми партнёрами, не были соперниками. Они были жителями разных полушарий, объединённых общей монетой — в прямом и в «этрусском» смысле. По утрам один выходил на порог и кричал про Гераклита, другой откликался про таз на лестнице, и улица Рога, ещё не зная, что скоро станет ареной событий, о которых будут вспоминать десятилетия спустя, мирно изгибалась между ними, пряча горизонт.

Весной того года, когда всё случилось, на углу покрасили фреску с Мадонной и вывели белилами: «Дисциплина — свобода народа». Буквы немедленно потекли от сырости, и к вечеру надпись читалась как «Дисциплин а — свобод народа», что Ромео счёл улучшением текста. В ту же весну на улице появились две женщины. Но о них — в следующей главе.

(Примечание публикатора. Жест, которым Ромео поправляет волосы, я наблюдал многократно на протяжении десяти лет. Однажды, когда мы сидели у Ансельмо и граппа располагала к откровенности, я спросил у Кармелы, не кажется ли ей, что жест этот — нервный тик. Она ответила: «Профессор, когда у человека в голове три сотни книг, которые он помнит наизусть, и все они спорят друг с другом, поправить волосы — единственный способ навести порядок, не закрывая лавку». Я записал её слова, и теперь они перед вами. Что до кота Джузеппе — я знал его лич-

но. Он пережил все описываемые события, достиг преклонного возраста и умер в тот самый день, когда союзные войска вошли в город. Ансельмо утверждает, что кот не умер, а просто перешёл в измерение, где тени не падают, и я не склонен с ним спорить. На улице Рога кошки не умирают — они переезжают.)

Глава третья. О ВТОРЖЕНИИ ХАОСА И ПОРЯДКА

В которой на улице появляются две женщины, а также возникают вопросы о природе классификации, свойствах укусуса и о том, что считать, когда шаги не сходятся.

Кармела вошла в книжную лавку со звоном браслетов — вошла не так, как входят посетительницы, а как входят в дом, где прежде жили, но откуда давно съехали: с хозяйским любопытством и готовностью немедленно всё переставить. Дверной колокольчик ещё звенел, а она уже двигалась вдоль полок, ведя пальцем по корешкам, и палец её останавливался там, где, по мнению Кармелы, книга стояла не на своём месте. Она переставила томик Мандзони с полки итальянской прозы на полку поэзии.

— Он тосковал, — пояснила она, поймав взгляд Ромео.
— Ему нужен свет.

Ромео, стоявший за прилавком с картотекой, которую он завёл неделю назад и уже ненавидел, хотел возразить, что здесь всё-таки торговля, а не библиотека, что Мандзони — прозаик, что «Обрученные» — роман, а не поэма, и что у книг нет чувств. Но он промолчал. Что-то в том, как Кармела держала томик — двумя руками, чуть прижимая к груди,

прежде чем поставить на новое место, — заставило его усомниться в собственной правоте. Возможно, книги всё-таки имеют чувства. Возможно, Мандзони действительно тосковал на той полке. Возможно, свет с этой стороны окна падает иначе, и теперь ему лучше.

Он не спросил её имени. Она не спросила, который час, — единственная посетительница за месяц, не поинтересовавшаяся временем. Вместо этого Кармела обвела взглядом лавку, задержалась на трещине в потолке, на груде непереплетённых брошюр, на портрете Леопарди, висевшем криво, и произнесла:

— Здесь нужно петь.

— Простите?

— Петь, — повторила она. — У вас эхо хорошее. Книги любят, когда поют.

И, не дожидаясь ответа, вышла — чтобы на следующий день вернуться снова, и снова переставить три книги, и снова уйти, не купив ни одной. Так продолжалось неделю, пока Ромео не привык к тому, что по утрам в его лавке хозяйничает незнакомая женщина с браслетами и голосом, который он ещё не слышал, но уже предчувствовал.

Констанца в тот же день остановилась у дверей Помпео — но не вошла сразу. Она стояла на пороге и смотрела на витрину. Витрина была мутной от пыли и дождевых разводов, и сквозь неё антикварные безделушки выглядели как экспонаты, поднятые с морского дна. Помпео, находившийся внут-

ри, заметил её силуэт сквозь стекло — неясный, как фигура на старой дагерротипии, — и по неизвестной причине не вышел. Он ждал.

Констанца вошла. Оглядела пыльную витрину изнутри, провела пальцем по стеклу — на стекле осталась полоса чистоты, — повернулась к Помпео и спросила:

— У вас есть уксус?

— Уксус?

— И газета. Старая.

Уксус и газета нашлись. Констанца сняла передник, которого на ней не было (жест, который Помпео впоследствии назовёт «самым точным определением её характера»), и принялась мыть стекло. Мыла она яростно, молча, не оглядываясь. Через десять минут витрина исчезла. То есть физически она осталась, но стекло сделалось прозрачным до такой степени, что Джузеппе, дремавший на прилавке, проснувшись, увидел кота напротив и немедленно объявил войну собственному отражению. Он шипел, выгибал спину и бил лапой в стекло; Констанца, не прерывая работы, почесала его за ухом свободной рукой, и кот, неожиданно для себя, замурлыкал.

— Вам нужен работник, — сказала она, вытирая руки о тот самый несуществующий передник. — У вас тут всё слепое.

— Денег нет, — ответил Помпео честно.

— Жаль.

Она направилась к двери. На пороге остановилась, вытащила из кармана кусочек мела и провела зарубку на косяке — короткую, точную. Помпео видел, как она посмотрела на неё, потом перевела взгляд на другой конец улицы, где изгиб прятал мостовую, и чуть шевельнула губами.

— Что вы считаете? — спросил он.

— Шаги, — ответила Констанца, не оборачиваясь. — До дома. Если цифры сходятся — мир стоит на месте.

— А если не сходятся?

— Тогда я считаю ещё раз.

Палец её дрогнул на меловой черте. Она стёрла зарубку ладонью, провела новую и кивнула — не Помпео, а самой себе, — и уже взялась за ручку двери, когда Помпео произнёс:

— Подождите.

Она обернулась. Он смотрел не на неё — на зарубку. На то, как мел осыпался на каменный порог. На кота, который теперь сидел у вымытого стекла и смотрел наружу, где улица наконец-то стала видна.

— Три лиры, обед и субботняя граппа у Ансельмо, — сказал Помпео.

Констанца кивнула. Так на улице Рога появилась вторая женщина.

К вечеру того же дня Кармела и Констанца встретились — не могли не встретиться, потому что улица узка, а изгиб её таков, что всякий, кто идёт с одной стороны, рано или поздно сталкивается с тем, кто идёт с другой. Они сошлись как

раз на изгибе, у фонтана. Констанца стояла, обернувшись через плечо, и смотрела на косяк антикварной лавки, где белела свежая меловая черта. Кармела, подходя, заметила этот взгляд — и саму черту, заметную только под определённым углом.

— Это вы её поставили? — спросила Кармела, останавливаясь рядом.

Констанца перевела взгляд на неё.

— Я.

— Зачем?

— Чтобы считать шаги.

Кармела прищурилась, глядя сперва на зарубку, потом на изгиб улицы, потом снова на Констанцу.

— И сколько выходит?

— Сегодня не сошлось, — сказала Констанца. — Тридцать два в один конец, тридцать четыре — в другой. Лишние два шага взялись из ниоткуда.

— Может, вы просто развернулись на ходу, — предположила Кармела. — Или остановились.

— Я не останавливаюсь, когда считаю.

— Тогда мир пошатнулся, — сказала Кармела и, заметив выражение лица Констанцы, добавила: — Я не смеюсь. Я пою, и там то же самое: если нота не держит, значит, воздух не тот. Или внутри что-то сдвинулось.

Констанца посмотрела на неё внимательнее. Кармела выдержала взгляд, не отводя глаз, и в этом молчании между

ними проскочило что-то вроде узнавания — не хозяйское, не гостевое, а взаимное, как если бы два человека, пользуясь разными инструментами, обнаружили, что измеряют одно и то же.

— Вы вымыли стекло, — сказала Кармела уже другим тоном, не светским, а утвердительным.

— Вы переставили Мандзони, — ответила Констанца.

— Он тосковал.

— Стекло было слепое.

Фонтан журчал — звук, который на улице Рога слышен отовсюду, потому что кривизна стен подбирает его и несёт, как раковину. Они помолчали, и это молчание было не паузой, а частью разговора.

— Я пою, — сказала Кармела.

— Я считаю, — сказала Констанца.

— Хорошее сочетание. Цифра держит ноту, нота не даёт цифре застыть.

Констанца чуть повела плечом — не соглашаясь и не споря, а принимая к сведению. Они не пожали друг другу рук — женщины с улицы Рога вообще редкожимают руки, — но с того момента между ними установилось понимание, которое не требовало ни слов, ни жестов. Кармела взяла манеру заходить в антикварную лавку и переставлять безделушки; Констанца — заходить в книжную и считать книги. Ромео и Помпео, каждый со своей стороны улицы, молча приняли это вторжение — не потому, что не могли сопротивляться, а

потому, что вторжение было того рода, после которого жизнь становится полнее, а не теснее.

В ближайшую субботу они вчетвером отправились к Ансельмо. Но об этом — отдельно.

(Примечание публикатора. Описанная здесь сцена с укусом и газетой известна мне со слов Констанцы. Когда я спросил, почему она выбрала именно этот способ получить работу, она ответила: «Профессор, вы никогда не замечали? Люди охотнее нанимают тех, кто уже начал работать, чем тех, кто просит о найме. Чистое стекло — уже аргумент, за который не нужно платить». Я записал это и долго думал. Она была права — и в этом, как и во многом другом. Что до жеста с передником, которого не было: я видел её проделывающей это движение множество раз. Она вытирала руки о воздух с той же тщательностью, с какой другие вытирают их о холстину, и воздух, казалось, становился чище. Кармела, когда я упомянул при ней эту привычку, расхохоталась и сказала: «Она вытирает не руки, профессор. Она стирает лишнее». Я не понял, но записал. Теперь, перечитывая, кажется — начинаю понимать. Но это не точно. На улице Рога ничто не точно — кроме кривизны.)

Глава четвертая. О ВЫДОХЕ ПЕРЕД БУРЕЙ

В которой четверо собираются у Ансельмо, жестянка обретает голос, а Констанца произносит слова, о которых позже будут спорить — но никто не запомнит их точно.

В ближайшую субботу они вчетвером сидели в траттории, спрятанной за изгибом улицы, — заведении без вывески, потому что вывеска не нужна там, куда приходят не по названию, а по привычке. Ансельмо держал тратторию пятнадцать лет, и за это время не случилось ни одного события, которое он не предвидел бы за стойкой, вытирая стаканы. Он знал, кто женится, раньше, чем жених делал предложение; знал, кто умрёт, раньше, чем врач выписывал рецепт; знал, что улица Рога крива, но никогда не пытался её выпрямить — ибо, как он любил повторять, «в кривом бокале вино не киснет».

В углу, над бутылками, висел портрет дуче — тот самый, обязательный, в раме из дешёвого багета. Ансельмо повесил его не из убеждений, а из осторожности, как вешают оберег от сглаза: пусть лучше висит, чем приходят проверять, почему не висит. Портрет был плох: художник, бравший по лире за штуку, придал лицу выражение, которое при дневном

свете казалось надменным, а при вечернем — удивлённым. В тот вечер горела лампа, и дуче на стене выглядел как человек, внезапно услышавший нечто, не предусмотренное программой партии.

Ромео, войдя, сел к портрету спиной. Ансельмо кашлянул — тем особенным кашлем, который ничего не означает и означает всё. Ромео не обернулся. Помпео, ставивший стул, перехватил этот кашель, понял его и молча переставил стул — свой, не Ромео, — заслонив портрет собою. Жест вышел не политическим, а архитектурным: просто одна фигура перекрыла другую, как если бы на плане города одна улица легла поверх прежней, и план от этого стал не хуже, а только человечнее. Никто не прокомментировал. Но Ансельмо перестал кашлять и налил всем граппы на палец выше обычного.

Пахло базиликом и жареными анчоусами. Запахи в траттории Ансельмо никогда не смешивались — они существовали слоями, как в хорошей картине: нижний слой — чеснок и оливковое масло, средний — розмарин и жжёный сахар, верхний — винный пар и табак. Посетитель, входя, проходил сквозь все три и выходил другим человеком.

Помпео развивал теорию о невиновности Лукреции Борджиа. Он говорил о ней не как антиквар — как адвокат, у которого нет клиента, но есть неопровержимые улики.

— Её оболгали мужчины, — говорил он, поворачивая стакан в пальцах, — по единственной причине: она была умна. Умная женщина в политике — это угроза, которую нельзя

устранить силой, потому что сила тут бессильна. Остаётся клевета. Ей приписали яды, кровосмешение, колдовство — стандартный набор. Просмотрите источники: каждое обвинение исходит от человека, который либо боялся её, либо помогался её и получил отказ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.